

журнал издавался во время Первой мировой войны для защиты евреев от антисемитских обвинений их в шпионаже в пользу немцев. Я вырезал и переписывал отдельные заметки на еврейскую тему из подшивок старых газет, в том числе выступления Громыко и Царапкина в связи с образованием Государства Израиль. Эти крохи, которые с трудом удавалось собрать, были единственным средством пробить ту скорлупу, в которой замкнулось большинство евреев, напомнить, что они евреи не только тогда, когда им об этом напоминает антисемитизм официальный и неофициальный, пробудить в них какой-то интерес к еврейскому вопросу и показать, что есть еще евреи, которые интересуются историей своего народа, еврейской культурой и Израилем. Нужны были огромные усилия, величайшая осторожность и такт, чтобы пробудить в них интерес к своему народу, чувство национального достоинства.

Опасные встречи

Вскоре мне впервые пришлось встретиться с евреями из свободного мира. Это были американские туристы. На одном из еврейских концертов, которые изредка бывали в Минске, я увидел пожилую пару, которая выделялась на общем фоне. Говорили они по-английски. Ясно было, что это иностранные туристы. Люди из свободного мира, да еще евреи — я, конечно, не мог удержаться, чтобы не подойти к ним. Разговорились. Оказалось, что это американцы, совершившие поездку по разным странам мира. Были в Германии, где служил их сын в американских войсках. Были в Москве, где нашли свою родственницу. Приехали в Минск, где хотели навестить родные места, которые они покинули 50 лет тому назад, но туда им поехать не разрешили, так как это местечко не входило в их маршрут — оно находилось в 60 километрах от Минска. Из Советского Союза они собирались поехать в Израиль. Обстановка в театре не позволяла долго разговаривать, и мы условились встретиться назавтра в гостинице, где они остановились. Это было в 1956 году, в период, когда был слегка приподнят железный занавес и

понемногу начали приезжать туристы из капиталистических стран. Хотя я уже знал о слежке и подслушивании, но еще не догадывался, что всех иностранных туристов в гостиницах помещают в особые номера, оборудованные подслушивающей аппаратурой. Я приходил к ним дважды. Это была моя первая личная встреча с иностранцами. Вопросов у меня была уйма. Меня интересовало все и прежде всего новости с "еврейской улицы". Я подробно расспрашивал их о жизни евреев в Америке, о еврейских организациях, о еврейской культуре и, разумеется, я выжал из них все, что только можно было выжать об Израиле. Сам я рассказывал им о положении евреев в Советском Союзе, начиная со времен немецкой оккупации и до дней нашей встречи. Рассказывал о всех волнах антисемитского разгула, свидетелем которого я являлся. Обо всем этом я просил их рассказать евреям Америки и, конечно, Израиля, куда они собирались отправиться через несколько дней. Потом на следствии мне зачитали все эти разговоры. Я только удивлялся, как они смогли расшифровать эту невероятную языковую смесь, на которой я разговаривал. Это было полуграмотное сочетание английских, немецких и еврейских (идиш) слов. Но все это было переведено, отпечатано и подшито в отдельную папку, которую следователь всякий раз вытаскивал, чтобы подкрепить то или иное обвинение.

Летом 1957 года состоялся в Москве очередной Международный фестиваль молодежи. Из печати я узнал, что в нем будет участвовать и израильская делегация. Я загорелся желанием поехать в Москву и увидеть своими глазами живого израильтянина. Это стало моей ближайшей целью. К фестивалю начали готовиться еще задолго до его начала. В Минске, в Институте иностранных языков стали подбирать переводчиков. Отбирал ЦК комсомола. Один из секретарей ЦК, председатель отборочной комиссии сказал: "Нам нужно, чтобы это были прежде всего хорошие граждане нашей страны, а потом уже хорошие переводчики". Пошли слухи, что на время фестиваля въезд в Москву закроют. Опасаясь этого, я поехал раньше в Ленинград на спортивные соревнования, а оттуда уже решил поехать в Москву. Но в Ленинграде тогда тоже оказалось бурное время. Там дважды пришлось отмечать 250-летие города. Первый раз на празднова-

ние юбилея приехал Маленков, второй раз — Хрущев. На митинг, который был проведен на Дворцовой площади, организованно привозили и приводили ленинградцев, причем в каждой группе был выделен партработник, ответственный за соблюдение порядка. Хрущев был огражден от народа лесом солдатских штыков.

Для уверенности я поехал в Москву за неделю до начала фестиваля. Прежде всего я хотел узнать, когда и на какой вокзал прибудет делегация Израиля. Но не тут-то было. Сколько я ни обращался в Комитет по организации фестиваля, чтобы узнать, когда прибудет делегация Израиля, всегда следовал один и тот же ответ: "Не знаем еще сами". Так мне и не удалось встретить ее на вокзале. Но когда я узнал, что на центральном стадионе будет репетиция для всех делегаций, я сразу же ринулся туда. Я искал какой-нибудь признак израильской делегации. И вот издали увидел я израильские флаги и израильтян и бросился к ним. Иврита я не знал совершенно, идиш понимал, но говорил очень плохо, немногого говорил по-английски. Я начал расспрашивать их обо всем, хотелось говорить и говорить. Но вскоре они собирались уезжать в гостиницу. Я узнал, что они разместились в Тимирязевской академии, и с того момента я с раннего утра до позднего вечера не отходил от своей делегации. Хотелось говорить с ними, хотелось побольше узнать, хотелось просто смотреть на них, на этих парней и девушек, евреев, таких же как и я, но свободных и независимых. Всегда любую группу, любого члена израильской делегации окружало много евреев. Я разговорился с ними и оказалось, что многие из них, как и я, специально, приехали со всех концов России, чтобы увидеть собственными глазами посланцев своей страны. Разумеется, делегацию окружали не только друзья. Ее постоянно окружали агенты КГБ, которые следили за каждым из них, и за всеми, кто с ними общался. Следили, конечно, за всеми делегациями, но израильской делегации уделяли особое внимание. До последнего момента израильтяне не знали, куда их повезут для репетиции. Для того, чтобы их сбить с толку, им называли одно место, а везли в другое. Был я на концерте израильской делегации, который проходил в Останкинском парке вместе с концертами делегаций Нидерландов и Армянской Республики. Туда

пришло много евреев, чтобы посмотреть на народные танцы и песни и на самих исполнителей. Израильтяне всегда были окружены евреями, и со всех сторон их засыпали вопросами. Тем, кто никогда не слышал из официальных источников доброго слова о своей стране, кого постоянно заливали потоками грязи и лжи о своем народе, о своем государстве, хотелось узнать правду. Вопреки всем препонам, чинимым израильской делегации советскими властями, ее все же находили, ее смотрели и слушали тысячи евреев. Я все время ходил с фотоаппаратом и фотографировал делегацию целиком, отдельных ее представителей, мой национальный флаг. У меня до сих пор сохранились несколько фотографий, уцелевших после обысков КГБ.

Кульминацией для евреев был национальный день израильской делегации. Согласно программе и билетам концерт должен был состояться в театре им. Пушкина, но перед самым началом, следуя своей прежней тактике, организационный комитет перенес концерт в театр им. Моссовета. Билеты были разданы по различным организациям, и большинство их досталось, конечно, не евреям. Многие евреи попросту покупали билеты у тех, для кого этот концерт не представлял особого интереса. Но организаторы фестиваля и здесь нашли выход из положения. Желая свести к минимуму число еврейских зрителей, они пустили в зал через черный ход посторонних людей только для того, чтобы заполнить зал. Потом объявили, что все места заняты, и никого даже с билетами пускать не станут. Площадь перед театром была запружена людьми. Люди рвались в зал, но их не пускали. Вначале за порядком наблюдали лишь дружинники, затем вызвали милицию, а когда и милиция не смогла справиться, вызвали войска МВД. Было много стычек, многих отправили в милицию. Выходящих из здания театра представителей израильской делегации окружали и умоляли провести их. Но они, разумеется, были бессильны. Несмотря на все это, вопреки всем препятствиям и ограничениям, так грубо чинимым организаторами фестиваля, концерт все же прошел с большим успехом. Там же у Моссовета я познакомился с одним из руководителей делегации. Мы с ним договорились, что назавтра я приду к Тимирязевской академии и смогу получить там кое-что из литературы и сувениров для

Минска. Назавтра утром в назначенный час я поехал к месту встречи. Не доходя до Академии, я увидел две израильские машины. У одной из них был поднят копот, и водители вроде бы копошились в моторе. Когда я подошел поближе, из одной машины вышел руководитель делегации и, подойдя ко мне, рассказал, что вчера их вызвали в Комитет по организации фестиваля и обрушили на них всяческие обвинения. Дескать, они занимаются антисоветской пропагандой, распространяют сионистскую литературу и тому подобное. Он мне сказал, что им-то бояться нечего, в худшем случае их могут выслать раньше времени — и все, а со мной могут расправиться иначе, — он тут показал мне человека, стоящего под деревом и внимательно наблюдающего за всем происходящим. Мы договорились, как в дальнейшем поддерживать связь, он дал мне свой израильский адрес (который после ареста был изъят), и мы с ним распрощались. Я ушел с пустым чемоданчиком, который прихватил с собой для литературы.

Как только я начал удаляться, за мной сразу последовал "хвост", который стоял у дерева. У меня при себе ничего компрометирующего не было, и я шел, ничего не боясь. "Хвост" сохранял дистанцию, метров 15. Я останавливался, и он останавливался, я ускорял шаг, и сразу же он следовал моему примеру. Делал он это открыто и нагло, так как знал, что я его уже вижу. Я вошел в трамвай, он сразу же вскочил за мной, через две остановки я вышел и вскочил в трамвай, идущий в противоположную сторону, и он проделал все то же. Через несколько остановок я вышел из трамвая и пошел на станцию метро. Он сократил расстояние до нескольких метров. Я спустился вниз по эскалатору. Людей было полно, вагоны были набиты до предела. Я вошел в один из вагонов, и он — тут как тут. Я все же решил во что бы то ни стало уйти от него, чтобы он не узнал, где я живу и с кем общаюсь. Когда из второй двери еще выходили пассажиры, я стал пробираться вперед к площадке, как будто хочу встать в более удобном месте возле окна. "Хвост" находился в нескольких метрах от меня. Но между нами было полно народа. И как только последний пассажир вышел, я одним прыжком вскочил из вагона, остановился и стал наблюдать, как он, бешено расталкивая локтями пассажиров,

пробирается к двери. Но увы! Двери сомкнулись, и поезд двинулся. Я стоял на перроне, а он в вагоне. Мы смотрели друг на друга. Я видел бегающие глаза загнанного зверя. Я не утерпел — показал ему нос и помахал рукой. Нужно отдать ему должное — он оказался добросовестным сыщиком. В своем отчете он описал все подробности слежки. Потом на следствии мне все это рассказали, припомнив даже нос. От него-то я ушел, но, как потом оказалось, я ушел только от него, но оставался в их поле зрения. Несколькими днями раньше, будучи возле Тимирязевской академии, я увидел одну женщину среди делегатов, которая свободно разговаривала по-русски. Я бросился к ней и начал задавать ей массу вопросов, начиная с того, что означает семисвечник, который был на груди у делегатов. Она очень подробно рассказала историю menorы и ответила на множество моих вопросов. Это была сотрудница нашего посольства. Я решил сохранить с ней связь и в дальнейшем, после отъезда делегации. Она мне сказала свой номер телефона, и я, тогда еще будучи неопытным, вытащил записную книжку. Но она предупредила, чтобы я ничего не записывал, а только запоминал. Мы договорились с ней, каким образом в дальнейшем мы сможем связаться. Через день я позвонил ей и условным кодом договорился, в какое время я буду на заранее установленном месте, то есть в отделе грампластинок ГУМа. Я пришел туда раньше, народу было полно, у прилавков стояли большие очереди. Я выбрал наиболее удобное место, с которого мог наблюдать за входом. В точно назначенное время она вместе с мужем и двумя детьми появилась в отделе. Я вышел из своего угла, она тут же заметила меня и незаметно указала на меня мужу. Немного потолкавшись в очереди, он подошел к висящей таблице с перечнем всех имеющихся пластинок, вытащил записную книжку и стал будто бы записывать нужные пластинки. Глядя на таблицу, я тоже приблизился и стал разглядывать список пластинок. Мы приступили сразу же к деловому разговору. Я ему ответил на его вопросы о Минске, и мы договорились о дальнейших встречах. Он ушел в одну сторону, а через некоторое время я ушел в другую. Вернувшись в дом, где я остановился, я узнал, что приходил какой-то человек к соседям и расспрашивал обо мне — кто

я, откуда я. Но ни соседи, ни хозяева не придали этому большого значения, а просто решили, что милиция интересуется, кто здесь проживает без прописки, а так как я приехал всего лишь на дни фестиваля, то это не грозило им ничем серьезным, ибо таких как я было полно. Фестиваль подходил к концу. Я начал собираться обратно в Минск. Несмотря на все препятствия, мне все же удалось собрать некоторое количество литературы, брошюр, словарей и сувениров. Для меня это было большим богатством. Я представлял себе, как будут радоваться и жадно все это читать ребята в Минске, для которых каждое слово, каждая вещичка из Израиля драгоценны. В Минске я постоянно ходил нагруженный сувенирами, календариками и брошюрами, которые я при каждом удобном случае показывал и давал почитать. Каждый выпрашивал у меня какой-нибудь сувенир, но их было немного, и каждого удовлетворить было невозможно. Я был полон впечатлений от фестиваля и без устали рассказывал, что и кого видел. Рассказывал об Израиле правду, полученную из первых рук. Встреча с настоящими израильтянами расширила мой кругозор, обогатила меня информацией, дала мне еще раз понять разницу между галутом и родиной. Вскоре мне опять улыбнулось счастье. Один из знакомых спортсменов, который ездил с командой борцов в Польшу на соревнования, привез мне много разной литературы. Там были газеты и журналы на идиш, иврите и русском. Они были из Израиля и из Франции. Была брошюра на русском языке об антисемитизме. В то время в советской печати, особенно в "Труде" и "Комсомольской правде", появились серии антиизраильских статей, авторами которых были известные евреи — Л. Шейнин и Д. Заславский. В брошюре был дан достойный ответ на все это, а также была статья об истории антисемитизма. Брошюра пользовалась большой популярностью среди евреев Минска. Жажда знаний по еврейскому вопросу и желание передать их другим были так велики, я так горел всем этим, что забыл всякую осторожность, тем более, что опыта конспирации у меня не было. Единственный источник, где я пытался почерпнуть кое-какие сведения о конспирации — это советская и переводная литература о разведке и подполье.

Слежка

Вскоре я почувствовал, что привлек внимание кагебешников. Как позже выяснилось, впервые меня засекли в гостинице при встрече с американскими туристами. Я в то время работал в Минском Политехническом институте преподавателем физкультуры. Институт был большой, в нем занималось около девяти тысяч студентов. Директор этого института М. Дорошевич был крупной фигурой в республике. Он был членом ЦК КПБ, а позже, после моего ареста, стал министром высшего образования. С рядовыми преподавателями он почти не общался. Руководство осуществлялось через завкафедрами или проректора по учебной части. Я с ним никогда не разговаривал, и он меня даже не знал в лицо. И вот однажды он звонит на кафедру и просит меня к телефону. У меня в это время занятий не было, я должен был прийти через час. Тогда он приказал взять его ЗИМ и срочно поехать за мной домой. Все на кафедре были поражены таким вниманием ко мне самого директора. Но машина еще не успела выехать, как я появился на кафедре. Мне хором сообщили, что меня вызывает Михаил Васильевич. Сначала я не поверил и подумал, что это шутка. Но завкафедрой тут же позвонил директору и передал мне трубку. И действительно, сам Михаил Васильевич просил зайти к нему в кабинет. Сколько я ни перебирал в памяти возможные причины, побудившие его снизойти до меня, так и не смог догадаться. Зайдя в его огромный кабинет, я направился по длинной красной дорожке к столу. Он внимательно, с любопытством начал меня рассматривать, ничего не говоря. Вид у него был полурастерянный. Затем он начал задавать мне ничего не значащие вопросы о жизни, о работе, о семье. Чувствовалось, что он сам не знал, с чего начать. Я решил ему помочь и спросил: "Вы меня, Михаил Васильевич, вызвали по какому-то делу?" Он торопливо заговорил: "Да, да. Вот, знаете, здесь у нас недавно была ревизионная комиссия, и она обнаружила, что у вас в деле не хватает какой-то анкеты. Зайдите, пожалуйста, к Пирогову, заполните ее, и он вам все объяснит". (Пирогов был начальником отдела кадров, только что демобилизованный полковник. Известно, что все начальники отдела кадров

связаны с КГБ и милицией). Все это выглядело настолько нелепо, настолько нелогично, что у любого, даже абсолютно чистого перед властями человека это бы сразу вызвало подозрения.

Чувствовалось, что сотрудники КГБ не подготовили его как следует к разговору со мной. Во-первых, действительно, была ревизия, но ревизия была финансовая и никакого отношения к личным делам не имела. Во-вторых, это не могло быть так срочно, чтобы посыпать свою персональную машину за мной. И в конце концов сам Пирогов мог решить этот вопрос без директора. Зайдя к Пирогову, я спрашиваю: "В чем дело?" Он мне отвечает: "Вам ведь, наверное, объяснил Михаил Васильевич". И не стал мне ничего объяснять, боясь, что его объяснения и объяснения директора разойдутся. Вид у него тоже был настороженный. Затем он попросил меня заполнить три анкеты. Одну — обычную, для поступающих на работу, другую — для военкомата со специальными вопросами, а третью, толстую анкету — для поездок за границу. В ней нужно было указать все подробности о близких и дальних родственниках, бабушках, дедушках и тому подобное. На большинство из этих вопросов я ничего не ответил, так как действительно на знал, что писать. Я почувствовал чью-то явную заинтересованность во мне. После того как я по мере способностей заполнил все анкеты, я побежал на кафедру и попросил заменить меня на первом уроке, а сам на такси помчался домой. Я решил прежде всего убрать всю "крамольную" литературу из дома. Собрав все, что мне казалось тогда "крамольным", в один чемодан, я отнес его к своему знакомому, который жил недалеко от меня. И квартира его, и он сам казались мне весьма надежными. Домашние советовали мне немедленно все уничтожить, так как лишь в этом случае у меня будет гарантия, что ничего не найдут. Но у меня попросту не подымалась рука уничтожить все то, что я таким трудом собрал, и что представляло такую ценность.

Советов я не послушал, а сделал по-своему. После этого жизнь как будто вошла в обычную колею. Работал, иногда выезжал в другие города, встречался с друзьями, но уже появилась у меня какая-то настороженность. Я стал замечать

подозрительных лиц, которые часами дежурили около моего дома. Появились "хвосты". В дальнейшем я уже узнавал их издали. Некоторые ходили за мной осторожно, другие же открыто, нагло. Иногда я заводил с ними игру и нарочно путал следы — то забегал в проходные дворы, в подъезды, то вскакивал на ходу в проходящий трамвай. Однажды я решил наказать одного из них, наиболее нахального, который преследовал меня как тень. Он ходил целый вечер за мной, сохраняя дистанцию в три—пять метров. Я заходил в магазины, в автобусы, садился в такси, но он всегда был рядом и цинично улыбался. Я вскочил в один из темных подъездов и спрятался за открытую дверь. Он вбежал за мной, побежал вверх по лестнице, остановился и стал прислушиваться, какую же дверь я открою. Он поднялся на верхний этаж, зажигал там спички, очевидно, читая фамилии жильцов. Опять прислушивался, но ничего так и не услышал. Затем он стал разочарованно спускаться вниз. Дверь подъезда была открыта, свет с улицы слегка освещал его. Сам я находился в неосвещенном углу за дверью, и он меня видеть не мог. Когда он поравнялся с дверью, я коротким и резким ударом в челюсть свалил его на пол, затем, перепрыгнул через него, выскочил на улицу и поехал домой. Об этом факте он, видимо, постыдился рассказать в своем отчете. Во всяком случае, потом на следствии об этом не упоминалось. По-видимому, руководство института по рекомендации КГБ решило рассеять подозрения, возникшие у меня в связи с неожиданным вызовом к директору и заполнением анкет. Две недели спустя начальник отдела кадров Пирогов вызвал меня к себе и говорит: "Сейчас я могу вам сказать, для чего мы предложили вам заполнить анкеты. Дело в том, что военкомат хочет послать вас за границу, а именно, в ГДР в советские войска для работы инструктором по физподготовке. Вы согласны?" "Да, почему же нет?" — ответил я. "Тогда хорошо. Ждите ответа, но только никому об этом говорить не следует". Это наивное объяснение еще больше насторожило меня. Во-первых, было известно, что евреев очень редко посыпают за границу служить в армии. Во-вторых, у нас на кафедре имелись более подходящие кандидатуры для этого — русские, и моложе меня. Да и форма самого предложения была необычной. Я сделал вид, что

поверил этому объяснению, а сам начал замечать следы. Мне приходилось часто разъезжать по разным городам. Ездил со спортсменами и как тренер, и как судья. Кроме того, меня часто посыпали в разные спортивные организации как общественного инспектора для проверки их работы.

СЛЕДСТВИЕ

Снова арест

В начале декабря 1958 года мне позвонили из республиканского Комитета по физкультуре и спорту и предложили поехать в Гомель для проверки работы местной спортивной организации. Эта поездка была для меня не обязательна, так как моей основной работой было преподавание, а командировки — общественной нагрузкой. Я сам выбирал эти поездки. Если поездка представляла для меня интерес — я ездил, если нет — отказывался. Теперь же у меня не было никакого желания ехать, и я отказался. Но Комитет физкультуры (как потом оказалось, под давлением КГБ) всячески уговаривал меня. Они даже нажимали на меня через моего завкафедрой, который всегда был противником командировок во время занятий. Звонил мне домой зампредседателя республиканского комитета и уговаривал поехать в последний раз (как в воду глядел), так как им нужен был срочный отчет о работе Гомельского областного комитета физкультуры и спорта. В конце концов я поддался на уговоры и согласился поехать. Тем более, что следы свои я замел, а если что-то и готовится, то пускай это будет поскорее. Поезд мой отходил в час ночи. Весь вечер я нервничал и говорил дома, что мне почему-то ужасно не хочется ехать. Я предчувствовал какую-то беду. Но уже перевалило за двенадцать, и я пошел на вокзал — он был в десяти минутах ходьбы от дома. Сел в вагон, занял свое место в купе. Всю ночь я ворочался и глотал таблетки от головной боли. Поезд прибыл на станцию Гомель в пять утра.

Я вышел из вагона и пошел через туннель на вокзал. Когда я выходил из туннеля, меня вдруг кто-то окликнул: "Вы будете товарищ Рубин?" Я ответил: "Да, я". Это был мужчина лет 50 в длинном пальто и сапогах. "За вами прислал машину Сергеев" (председатель гомельского областного комитета физкультуры). Я спрашиваю: "Откуда вы знали, что я приеду сегодня?" "Нам позвонил Васильев (зампредседателя республиканского Комитета по физкультуре и спорту) и просил вас встретить". Я это воспринял как должное, так как обычно, когда я выезжал в инспекционную поездку, меня встречал кто-нибудь из представителей местных организаций, или же заранее сообщали, что мне забронировано место в гостинице. Мы поднялись на привокзальную площадь. Было декабрьское морозное утро, слегка порошил снег. На привокзальной площади стояло несколько дежурных такси, в стороне стояла машина. Когда мы подошли к ней, я обратил внимание на то, что мой попутчик открывает мне заднюю дверцу. За рулем сидел шофер в полувоенной одежде. Мысли мои лихорадочно работали. Что можно сделать, какие предпринять шаги? Но у меня были лишь подозрения, и я еще не был уверен, что меня арестовывают. Успокаивало и то, что при мне ничего компрометирующего не было, а из дома я все, что могло бы послужить материалом для обвинения, убрал. Не успел я сесть в машину, как вдруг будто из-под земли с двух сторон машины появились двое верзил и уселись рядом со мной, плотно зажав меня. Встречавший меня, как вскоре оказалось, полковник КГБ уселся рядом с шофером, захлопнул дверь и скомандовал: "Поехали!" Машина тронулась. Я спрашиваю: "Куда мы поедем, в какую гостиницу?" Здесь они все четверо сработали синхронно.

Шофер нажал на тормоз, полковник приподнялся, схватил меня за голову и с силой скжали мне с двух сторон виски так, что у меня круги пошли перед глазами. Сидевшие рядом со мной молодцы схватили меня за руки и начали лихорадочно обыскивать. Затем этот полковник сунул мне в нос какое-то удостоверение со словами: "Я полковник госбезопасности, мне велено доставить вас в Минск. У всех у нас есть оружие, и при малейшей попытке к бегству будем стрелять немедленно". Я обратил внимание, что обыскивающий меня

щательно прощупывает воротник рубашки. Позже я узнал, что они искали ампулу с ядом. Все это произошло в считанные секунды — их методы были прекрасно отработаны. Затем полковник заговорил со мной спокойным и даже доброжелательным тоном, чтобы, видимо, успокоить меня и не лишать надежды: "Это, может быть, недоразумение. Знаете, всяко бывает и у нас. Там в Минске выяснят, что им нужно, и пойдете домой. Пусть вас не смущает, что мы не совсем деликатным образом возвращаем вас в Минск, но у нас имеются свои инструкции и законы, и мы обязаны действовать строго по предписанию". Он даже предложил мне завтрак — бутерброды, которые они специально захватили для меня. Но мне, конечно, было не до завтрака. По дороге они вели разговоры о рыбалке, об охоте, о кино. Я, в свою очередь, старался составить план, как вести себя на допросе. Что они знают и чего не знают? Как они истолкуют те факты, которые им могут быть уже известны? Приехали в Минск. При въезде в город они мне велели откинуться назад и надвинуть ушанку — чтобы меня не мог кто-нибудь увидеть и узнать. Заехали во двор КГБ через боковой проезд, и там у подъезда меня ожидало несколько кагебешников, среди них следователь майор Кудров. Меня отвели в его кабинет и усадили за стол, стоявший в углу. Стол и стулья были прикреплены к полу, на столе стояла легкая пластмассовая пепельница. Все это было предусмотрено на случай, если попадется буйный арестант. Окна были закрыты решеткой. Мне принесли на поднос обед из трех блюд. На сей раз я не отказался, так как изрядно проголодался.

Сразу же после обеда все четверо, находившиеся в кабинете, начали допрос. Первое, что они мне предложили — назвать всех своих друзей и знакомых. Я назвал им кое-кого, с кем у меня никаких "еврейских" дел не было. В основном, это были неевреи — сослуживцы, друзья по спорту и просто знакомые. Они мне: "Это мы знаем. А вот таких-то вы знаете?" И начали читать длинный список еврейских фамилий. Среди них были и те, с которыми у меня были деловые отношения, и весьма далекие от еврейства. Я видел, что они слишком много знают. Я понял, что телефон мой прослушивался — они назвали мне почти всех,

кто звонил мне в последние дни. С некоторыми из них я не виделся больше года. Я ответил, что знаю их, но, естественно, не могу запомнить фамилии всех моих знакомых. Я коренной минчанин, всю жизнь жил в Минске и, разумеется, у меня масса знакомых, начиная с тех, с кем я знаком со школьной скамьи и кончая сотрудниками института, где я сейчас работаю. О многих спрашивали, в каких мы отношениях и что нас связывало. Я отвечал, что некоторые — просто знакомые с такого-то времени или в таком-то месте, с некоторыми я вместе занимался спортом, с некоторыми меня связывали общие интересы к книгам. Затем они спросили, где моя литература. Я ответил: "Дома, на полках". "Нет, — сказали они, — вы знаете, какую литературу мы имеем в виду". Я им снова ответил, что все, что у меня есть, открыто и находится дома. Весь день разговор вертелся вокруг знакомых и литературы. К вечеру мне заявили: "Ладно, идите сейчас спать и подумайте хорошоенько о том, где вы находитесь и с кем имеете дело, а завтра поговорим еще. Если вы хотите отсюда когда-нибудь выбраться, то перестаньте хитрить, отбросьте все свои штучки и начинайте рассказывать честно и прямо, по-русски". А другой добавил: "А мы-то думали, что вы мужественный человек, честно расскажете все, не боясь ничего. Вы, оказывается, просто трус. А еще бывший боксер!" "Если вы называете мужеством клеветать на своих друзей и знакомых, чтобы помочь вам состряпать дело, то я не отношусь к этой категории мужественных людей". Они мне: "Вы еще заговорите, никуда не денетесь".

Круглая тюрьма

Двое охранников вывели меня в коридор и повели вниз по лестнице. Лестничный пролет и все окна забраны решетками и сеткой. Провели меня через двор в тюрьму, которая находилась в центре двора. Тюрьма эта была круглой и почему-то называлась американской.

Сразу после войны, когда Минск был на 90 процентов разрушен, а центр города был превращен в сплошные

развалины, первое здание, которое начали восстанавливать в Минске, было здание КГБ. Во главе его тогда стоял грузин по фамилии Цанава. Здание было четырехэтажное, в форме буквы П. Тюрьма возвышалась над землей на два этажа, и еще два этажа были под землей. Так что с улицы здание тюрьмы не было видно, и не было слышно, что там происходит. Но люди уже знали, что это самое страшное место в городе. Меня отвели на первый этаж в административную комнату, где производили регистрацию и обыск.

В машине у меня искали лишь оружие и ампулу с ядом, но документы и записную книжку не тронули. Теперь я вспомнил о записной книжке, в которой были зашифрованные имена и номера телефонов. О некоторых кагебешниках ни в коем случае не должны были знать. Кроме того, там были фамилии людей, не имевших никакого отношения к моему делу. Вызов в КГБ и разговор с чекистами вызвал бы у них шок. Репутация чекистов не изменилась со сталинских времен, и отношение к ним было вполне однозначным. Я сделал гримасу и сказал дежурному старшине, что с утра еще не был в туалете и мне срочно необходимо. Это было до начала тюремного обыска. Он подвел меня к двери с глазком и впустил. Соответствующим образом разместившись, я стал незаметно вытаскивать из кармана записную книжку. Различными манипуляциями я старался замаскировать свои движения, так как время от времени к глазку подходил надзиратель. Вытащив записную книжку, я стал незаметно вырывать из нее нужные, вернее "ненужные" страницы, и вскоре она стала у меня вдвое тоньше. Затем я ее вложил обратно в карман. Страницы я рвал, опускал в унитаз и несколько раз спускал воду. После проделанной работы я вышел из туалета, чувствуя большое облегчение. А когда позже еще раз попросился, уже действительно по надобности, старшина мне отказал, сказав, что так часто не положено.

Обыск был более чем тщательный. Раздели догонала, прощупали все швы, оторвали каблуки от туфель. Затем, отобрав все документы и записную книжку, все "режущие и колющие инструменты" (перочинный ножик, ножницы, иголку), "пишущие принадлежности" (ручку, карандаш), сняв с меня галстук, брючный ремень и вытащив шнурки из

туфель, чтобы, не дай Бог, не повесился, меня отвели в камеру. Так как тюрьма была круглой, то камеры, находившиеся вдоль внешней стены, сужались к двери. Кроме того, углы камеры были почему-то срезаны. Таким образом камера имела форму гроба. В одном углу к стене была приделана доска, которая служила столом. Рядом с ней стояла маленькая тумбочка, прикрепленная к полу. Сбоку к стене была прикреплена железная рама с металлическими полосами посередине, служившая койкой. В шесть часов утра эта койка опускалась и через пробой запиралась на огромный замок, а в 11 часов вечера ее снова подымали. Тюрьма эта была только следственная. Сразу после суда заключенных отправляли в лагеря, или в другую тюрьму, или же в иной мир. Поэтому больших камер там не было, а держали по одному, по двое, а если не было места, на пол клали и третьего. У двери стояла параша, которая также была прикреплена к стене толстой цепью с замком. Каждое утро надзиратель отпирал его, чтобы парашу можно было вынести. Маленькое окошечко было застеклено специальным матовым стеклом, внутри которого была металлическая сетка. У форточки был намордник — прямоугольный ящик, загнутый кверху, через который можно было увидеть лишь маленький квадратик неба. Стены покрашены в грязно-серый цвет. Запах в камере стоял затхлый и сырой. Пол — цементный и всегда сырой. В двери — глазок, через который надзиратель периодически заглядывал в камеру, чтобы знать, чем занимается арестант. Под глазком — кормушка и маленькая форточка, через которую подавали пищу. Над дверью в нише — огромная электрическая лампа, которая горела круглые сутки. Спать надо было лицом к двери, чтобы лицо было все время освещено — закрывать лицо от этого яркого света запрещалось. Первое время я совершенно не мог уснуть — свет лампы бил прямо в глаза, как прожектор. Но в дальнейшем благодаря недосыпанию и общей нервной усталости я спал невзирая ни на что. Два раза в день, утром и вечером, водили в туалет, и заодно нужно было опорожнить парашу. Раз в день на полчаса выводили на прогулку. На прогулку выводили в специальные дворики, которые были чуть больше камеры, только без крыши. Туда впускали, запирали двери, и гуляй себе свои полчаса. Сверху

над двориком была специальная площадка, на которой стояли часовые и наблюдали, чтобы арестанты из разных камер не переговаривались и ничего не перебрасывали друг другу. Все дни были похожи друг на друга: подъем, туалет, стандартный завтрак, который обязательно включая селедку, допросы с перерывом на обед, а иногда и без перерыва, особенно в первый период следствия. По ночам не допрашивали.

Однажды рано утром, не успел я даже запить селедку кипятком, как меня вызвали на допрос. Несмотря на то, что надзиратели и конвоиры после многих месяцев тюремы знали заключенного хорошо, все равно при вызове на допрос они всегда соблюдали определенную форму — отворялась кормушка, и надзиратель вызывал: "Рубин!", я же должен был называть остальное: имя, отчество, год рождения, а после суда еще статью и срок. Он, в свою очередь, все это сверял по моей папке, в которой были все эти данные, затем, сличив мои фотографии в фас и профиль с оригиналом, открывал дверь. Меня опять прощупывали в соответствии с инструкцией. Следовала команда: "Руки за спину, не оглядываться, не разговаривать, итти медленно", и я отправлялся в сопровождении двух охранников в корпус КГБ к следователю. Если в это время вели навстречу другого заключенного, они сразу же поворачивали меня лицом к стене и держали за плечи до тех пор, пока он не исчезал из поля зрения. Вводя меня в кабинет, они козыряли офицерам и удалялись.

Беззаконная законность

На сей раз разговор был короткий. Они снова спросили, где литература, и на мой ответ, что все находится дома, ответили: "Дама-то дома, но у кого дома?" Я повторяю: "У меня дома". Тогда они мне говорят: "Мы ведь все равно все знаем. Только хотели проверить, насколько вы честны и правдивы. А сейчас поехали. Если вы раньше не хотели показать нам, где находится литература, то сейчас мы покажем вам". Мне принесли из камеры пальто, вывели во

двор и усадили в машину. Со мной в машину сели еще три человека, не считая шофера. Еще трое сели в другую машину. Я и сейчас не понимаю, как они узнали адрес. То ли им рассказал мой подельник, то ли они подслушали мой разговор с ним дома через подслушивающий аппарат, который был установлен у меня и о котором я расскажу ниже. Мы подъехали прямо к дому моего знакомого, он еще не вернулся с работы. Войдя в квартиру, они объяснили хозяйке, зачем они приехали, и потребовали, чтобы никто из дома не выходил и чтобы все находились в соседней комнате. Один из кагебешников остался снаружи, другой — у двери внутри. Остальные раскрыли чемодан, который я привез к ним на хранение, и начали исследовать его содержимое. Затем они начали писать протокол обыска, перечисляя все найденное в чемоданчике: книжки, брошюры, календари с фестиваля, книжку об антисемитизме, изданную в Израиле, газеты и журналы на идиш и иврите из Франции, которые привез мне один из моих подельников, фотографии с израильтянами на фестивале, статьи по еврейскому вопросу, которые я вырезал и переписывал из книг и журналов. Стопка вырезок из советских газет, так или иначе связанных с Израилем или вообще с евреями, которые, кстати, впоследствии были включены в обвинение как тенденциозная подборка материала. На всем этом я должен был написать "принадлежит мне" и расписаться. Все мы сидели за одним большим столом в столовой. Среди бумаг и книжек я заметил клочок бумаги с номером телефона сотрудника израильского посольства, правда, зашифрованным, и одним адресом, который ни в коем случае не должен был попасть к нему в руки. Тогда я еще не знал, что потом обвинение будет значительно серьезнее, и полагал, что все ограничится этой литературой.

Я решил уничтожить во что бы то ни стало этот адрес и номер телефона. Я сказал, что хочу пить. Мне принесли кружку воды. Я выпил половину и оставил немного воды во рту. В таких случаях реакция и сообразительность обостряются. Я взглянул на шкаф, как будто что-то заметил. Все повернули голову к шкафу. Достаточно было этого мгновения, чтобы бумажка оказалась у меня во рту. Они набросились на меня, еще не понимая, что произошло. Я же свернулся калачиком

на полу, и пока они возились со мной, эта бумажка вместе с водой была проглочена. Они начали орать: "Ты что сделал! Ты что сделал! Мы у тебя вместе с кишками все вынем!" Скрутили руки назад, надели наручники и увезли в машину. На допрос меня в тот день больше не водили, а повели прямо в карцер. В карцере меня держали восемь суток и оттуда возили ежедневно на допросы. С каждым днем я все больше убеждался, что у них имеется полная информация обо мне. Знают всю мою биографию, большинство знакомых и родных. Назвали мне точно, где и с кем я встречался и даже о чем говорили. Больше всего меня удивило, что они знают в подробностях, о чем я разговаривал дома. Они мне назвали точно день, полгода тому назад, когда у меня был такой-то человек, описали его внешность, одежду, процитировали дословно наш разговор. Уже после суда на свидании родные мне рассказали, что на чердаке над моей комнатой был установлен подслушивающий аппарат. Узнали они случайно, когда недели через две после моего ареста к нам пришел техник ремонтировать телефон. Он спросил: "А что это у вас еще какой-то провод тянется на чердак?" Родственники поднялись на чердак и там обнаружили над моей комнатой два аппарата, в разных углах, слегка присыпанные шлаком. Они, разумеется, побоялись тогда их трогать, но спустя некоторое время эта аппаратура так же незаметно исчезла, как и появилась. Позже из наблюдений и рассказов некоторых соседей выяснилось, что аппарат был установлен более года тому назад, и провод тянулся к соседке, которая жила на нашей площадке.

Эта соседка во время немецкой оккупации активно сотрудничала с немцами. У нее даже в войну родился сын от немца. После войны она стала сотрудничать с КГБ. Так вот к этой-то соседке поселили "квартиранта" из КГБ. Из ее окна было очень хорошо видно, как ко мне приходили. Тогда он включал микрофон, и все разговоры записывались. Потом, очевидно, ленту прокручивали, и все, что представляло для них интерес, печатали на машинке и подшивали в папку. Таких папок за год с лишним собралась уйма. Когда я оспаривал какое-либо обвинение, следователь открывал железный шкаф, вынимал ту или иную папку и зачитывал все мои высказывания и разговоры. Но я уже до ареста знал,

что по закону основанием для обвинения на суде может служить лишь признание самого обвиняемого или показания свидетелей, или же вещественные доказательства, а все агентурные данные, явившиеся результатом подслушивания, фотографирования и т. п., не являются материалом для суда. Я наивно полагал, что теперь уже придерживаются законности. Но на суде я убедился в обратном, так как почти все самые серьезные обвинения против меня были построены на агентурных данных. Я все отрицал, свидетели все отрицали или просто не знали, вещественных доказательств тоже не было. Тем не менее обвинения были включены в приговор.

В последующие дни я почувствовал, что вся "крамольная" литература, которую они изъяли, не была главным в их обвинениях, и я всячески старался найти главный пункт, но на все мои вопросы они отвечали: "Пока мы еще тебя допрашиваем, а не ты нас". Я соглашался: "Пока да". Дня через два после того, как они изъяли у меня записную книжку, меня вдруг срочно вызвали во время обеда на допрос, и там набросились на меня — где вырванные страницы из записной книжки и что там было написано? Я им ответил, что использовал их по надобности, что странички были пустыми. Меня убеждали, что они все достали, что в лаборатории все записи восстановлены, но они хотят проверить мою честность. Я продолжал настаивать на прежнем ответе, и после двух дней бесполезного нажима они перестали приставать ко мне с вопросами о записной книжке. Правда, старшину этого я уже больше не встречал в тюрьме. Ему, возможно, пришлось поплатиться за допущенный промах.

В это же время они вызывали массу свидетелей. Всего было допрошено, как я позже подсчитал, около 80 свидетелей, в том числе те, с кем я совершенно не был связан по своей сионистской работе. В те времена не били и не сажали только за то, что знаком с арестованным, но методы шантажа и запугивания остались прежними. Все еще была свежа память о сталинских временах. Один лишь вызов в КГБ на допрос вызывал у людей дрожь, и они проводили бесконную ночь, размышляя, что это может быть и как себя нужно там вести. После моего ареста многие знакомые и даже некоторые бывшие друзья переходили на другую

сторону при встрече с кем-нибудь из моих родственников, так как считали, что одно лишь знакомство с политзаключенным может в лучшем случае стоить им карьеры. Большинство свидетелей, переступая порог КГБ, не знал, вернутся ли они домой. Однажды следователь мне сказал: "Не понимаю, почему люди так боятся, чего они так дрожат? Ведь их не бьют, не пытают, а просто спрашивают. Иногда только начинаешь писать протокол допроса, задаешь первый вопрос, а он уже просится в туалет".

Что общего у православных с жидами

У КГБ имеется огромный опыт ведения следствия, у них есть даже научно-исследовательские институты по изучению психологии заключенного.

В полосу так называемых экономических процессов был арестован старый еврей. Он потерял всю семью в гетто, от второй жены у него была девочка лет шести. Он дрожал над ней и весь остаток жизни посвятил тому, чтобы вырастить свою дочь. Кагебисты не преминули воспользоваться этим. Следователь ему говорил: "Вы хотите поговорить со своей дочкой? Я могу набрать ваш домашний номер, и говорите". Он звонил, давал ему трубку, и как только девочка отвечала, следователь сейчас же нажимал на рычаг. А однажды, когда его вели на допрос, он увидел издали в коридоре свою дочь на руках у кагебиста. Когда он вошел в кабинет, ему говорят: "Вы хотите встретиться со своей девочкой? Ведь она очень скучает без своего папы и все время спрашивает: "Где мой папа, когда мой папа придет?" Все зависит только от вас, одно ваше слово, и она будет у вас на руках". Отец не выдержал нажима на самое чувствительное место и "раскололся".

А вот пример из моего следствия. Примерно через неделю после ареста меня вдруг повели не в кабинет следователя, а в другое крыло здания. Меня ввели в огромный кабинет, где все было огромных размеров. В одном конце кабинета стоял огромный письменный стол, на стене висели портреты Маркса и Ленина, в углу стоял бюст Дзержинского, на полу

была широкая ковровая дорожка алого цвета. По сторонам стояли диваны и кресла, на которых сидели восемь чекистов. Как только я переступил порог, они на меня набросились как цепные псы. "Вот он идет, этот выродок!" Они сыпали отборным матом, грозили всем, чем угодно, замахивались кулаками, оскорбляли меня всячески – будто соревновались друг с другом в издевательствах надо мной. С другой стороны было несколько стенных шкафов. Вдруг одна из узких дверей шкафа открылась, и оттуда бочком вылез рослый полный чекист в генеральской форме. Позже я узнал, что это был зампредседателя КГБ Белоруссии. Когда он вскоре ушел тем же путем, то я понял, что это была замаскированная дверь в другую комнату. Генерал подошел к одному из чекистов, что-то написал ему на бумажке, презрительно взглянул на меня и удалился в тот же "шкаф". Брань и угрозы, сам кабинет и его обстановка, неожиданное появление генерала, да еще как будто из шкафа, – все это было рассчитано на психологический эффект – подавить мою психику, запугать и внушить мне, что я бессилен перед этой машиной.

Действительно, я был ошарашен. Вдруг открывается дверь, и уверенным хозяйственным шагом входит некто в гражданском. Позже я узнал, что это был начальник оперативного отдела. Он огляделся и заорал на них: "Замолчать! Что за крик! Что за крик! Как вы разговариваете с подследственным! Вы забыли, что это не время бериевшины! Немедленно все удалитесь отсюда!" Все затихли, смущенно встали и почти на цыпочках вышли из кабинета. Он же уселся недалеко от меня на диване, как-то спокойно, по-домашнему, закурил и, конечно, предложил мне сигарету. Бросил еще несколько резких фраз по их адресу, а потом доверительно и ласково, как хороший друг, сказал: "Толя, пойми меня, я тоже был сиротой. Вырос в детском доме. Я очень хорошо изучил твою биографию и понимаю тебя лучше, чем кто-либо другой. Я все время был против твоего ареста. Говорил, что не может человек, переживший столько, пойти на такое преступление. И только приезд Никиты Сергеевича заставил нас пригласить тебя сюда таким нежелательным образом. Мы хотим просто выяснить, что случилось. Откуда такие разговоры о тебе". Несколько раз

он извинялся за то, что говорил со мной на "ты". Мы, мол, просто хотим выяснить обстановку. Иди себе спокойно домой, иди на работу. Ведь на работе о тебе так хорошо отзываются. Такую прекрасную характеристику тебе написали", и так далее и тому подобное. Это тоже был один из их методов — так называемая работа на контрастах. Когда грубая атака доходит до предела, они неожиданно переходят в другую крайность.

Разумеется, я не испытывал удовольствия от их хамства, но проявление таких "дружеских" чувств мне было еще более неприятно. Уже имея некоторый опыт, я стал действовать испытаным методом. Цинично улыбаясь, я говорю: "Гражданин следователь", — он тут же меня перебивает и поправляет: "Я не следователь, а начальник оперативного отдела КГБ Белоруссии". — Я повторяю свое обращение, но уже в исправленной форме, и продолжаю: "Не нужно со мной разговаривать "по-человечески, по-дружески", говорите со мной, как настоящий чекист". "Ну, что ты, Толя. У тебя просто сложилось неправильное представление о сотрудниках КГБ. Ведь везде есть разные люди. Не суди о нас по тем, кто проявляет свою невыдержанность. Твое представление о КГБ — с прежних времен. Все то, что здесь произошло сейчас — это и есть остатки прежних методов. Мы сейчас стараемся всячески изжити их у нас и беспощадно боремся против любого нарушения закона". Я перешел на еще более резкий тон, играя циника и грубянина, стараясь разозлить его. Я говорю: "Перестаньте играть. Вам все равно не скрыть за этой лисьей маской свою волчью сущность. Меня все это лишь смешит". Его терпение лопнуло, и он, сразу же побагровев, вскочил и заорал: "У меня не такие заговаривали, и ты заговоришь! Ничего, мы тебе хребет переломаем! Если не понимаешь человеческого языка, тогда поговорим на понятном тебе языке!" Он нажал на кнопку, вошли охранники и увели меня в камеру. После такого сильного нервного напряжения я вернулся в камеру страшно уставшим, каким-то обмякшим. По его фразе "приезд Никиты Сергеевича заставил нас взять вас" я понял, в каком направлении они ведут сейчас следствие.

Сразу же после ареста мне официально было предъявлено обвинение в измене родине, попытке покушения на одного из

руководящих деятелей партии и правительства (фамилию они никогда не указывают), антисоветской пропаганде и агитации, которая включала в себя распространение сионистской литературы, связь с израильским посольством, разжигание националистических настроений. Все усилия я сосредоточил на том, чтобы они сняли обвинение в покушении, так как понимал, что это пахнет вышкой. Они все время допытывались, где оружие, где мины. Я категорически отрицал все эти обвинения, а они утверждали, что все уже найдено и находится у них в руках. Уже после суда, в лагере, когда ко мне на свидание приехали родственники, я узнал, что были проведены тщательные обыски. В тот момент, когда меня арестовали в Гомеле, ко мне домой приехала целая бригада чекистов. Обыск проводили с миноискателями почти целый день. Все полы в доме были подняты, печи разобраны по кирпичикам. Если в стене им что-то казалось подозрительным, они тут же молотком отбивали штукатурку. Весь двор был искошен специальным железным щупом. Они влезли в погреб, который находился в сарае, и прощупали миноискателем стены и потолок. Перекрытие в погребе было из железобетонных плит. И когда они приставили к ним миноискатель, появился сигнал о наличии металла. Тогда они с яростью начали долбить перекрытие. Кто-то из домашних, присутствовавший при этом, сказал, что перекрытие ведь из железобетона, и внутри него имеется железная арматура. Действительно, куда они ни прикладывали миноискатель, всюду был тот же сигнал. Лишь после этого они перестали долбить и вылезли из погреба. Но через несколько дней, когда уже наполовину восстановили и отремонтировали квартиру после этого разгрома, они приехали снова. Очевидно, им было приказано во что бы то ни стало найти оружие или мины, и они снова начали все разрушать, прокалывать, прослушивать, но безрезультатно. В деревне, где я жил во время войны и куда продолжал приезжать иногда в гости, они тоже сделали обыск. У хозяина, у которого я когда-то жил и с которым продолжал поддерживать дружеские отношения, они перебрали все навозные кучи, прощупали все соломенные крыши и прокололи щупом весь двор в поисках оружия, но и там ничего не нашли. Хозяин был до смерти напуган этим обыском. Дело

в том, что накануне хозяин украл в колхозе мешок зерна, и думал, что они ищут зерно. После обыска ему сказали, что именно они ищут. Они потребовали, чтобы он им пересказал все, что я ему говорил, спрашивали, привозил ли я оружие, с кем я приезжал. Чекисты знали от соседей, что он украл мешок зерна, и пытались его шантажировать, что, мол, если он не расскажет всю правду обо мне, то они передадут его ОБХСС. В конце концов они убедились, что он действительно ничего не знает, и тогда руководитель оперативной группы майор Аркадьев сказал ему: "Что у вас общего с этим жидом, зачем вы с ним дружите? Ведь в конце концов вы — православные люди". Обо всем этом рассказал мне хозяин после моего освобождения.

С деревней был связан еще один курьезный случай. В год ареста, летом, когда я был там, один из соседей позвал меня на гумно, где мужики молотили рожь. Один из них попросил меня почитать им листовку, которую он нашел в поле. Это была листовка НТС. Я им прочел и посоветовал, чтобы они были с ней осторожны. Когда допрашивали крестьян, то кто-то из них рассказал историю с этой листовкой. Через некоторое время после моего ареста человека, который нашел листовку, вызвали для допроса в Минск. Когда он получил повестку в КГБ, то он, еще не зная, в чем дело, решил, что КГБ стало известно о случаях, когда он воровал колхозное имущество. К тому же он еще не вступил в колхоз. Он был уверен, что его арестуют. Попрощавшись с родными, он взял с собой сала, хлеба и махорки в запас и с полной торбой поехал в Минск. Как только он вошел в кабинет следователя, то сразу же начал плакать — теперь он уже решил вступить в колхоз, он будет хорошо работать и аккуратно платить налоги. Когда же ему следователь объяснил, что его не для этого вызвали, а что их интересует история с листовкой, то он расплакался уже от радости и рассказал следователю, что он распрощался с женой и детьми и был уверен, что его пошлют в Сибирь. Затем он услужливо стал рассказывать, что было и чего не было. В результате он заврался так, что его просто выгнали из кабинета. Потом мне эту историю рассказал сам следователь, когда пытался убедить меня в том, что им нужна правда, а не клевета.

Как правило, ко всем процессам, проводимым КГБ, стараются подготовить общественное мнение. Когда процесс открытый, то мобилизуют печать, радио, телевидение, и как по команде появляются соответствующие статьи, радиопередачи и карикатуры. Народ уже знает, что судят предателей, убийц, валютчиков. Когда же процесс закрытый, то готовят общественное мнение и по разным каналам распускают самые нелепые слухи. Слухи эти быстро подхватываются и распространяются. Уже в лагере родные мне рассказывали на свидании, что после моего ареста по городу ходили самые невероятные слухи: что я собирался взорвать только что выстроенную гостиницу "Минск" в центре города, что меня поймали с передатчиком, когда я передавал какие-то сведения на Запад, что у меня нашли полмиллиона валюты. Об одном из моих подельников, который был участковым врачом, пустили слух, что он заражал своих пациентов раком. И некоторые из его бывших пациентов прибегали в поликлинику с истерикой, что их заразил раком этот врач-убийца. Антисемиты, естественно, выжимали из этого все, что можно было. Находились и такие евреи, которые нас обвиняли — вот, мол, сволочи, зачем им это нужно было, из-за них и нам жизни нет. В деревне же власть учитывала психологию мужика, тем более, что это было в Западной Белоруссии, на территории бывшей Польши, где население было враждебно настроено к советскому строю. В его глазах я не был бы скомпрометирован тем, что передавал какие-то сведения на Запад или же хотел взорвать гостиницу. Поэтому там они пустили другой слух — будто бы я вместе с моим бывшим хозяином Иваном печатал фальшивые деньги. А то, что у них был обыск, так это они искали машину, на которой мы печатали купюры. Хозяин мой жил неплохо. Недавно он построил новый дом, и в деревне ему завидовали. Так что слухи эти попали на благодатную почву, и все поверили. Лишь в 1962 году, когда в лагерь, в котором я находился, попало несколько крестьян из той же деревни за "контрреволюционный саботаж" (у них сгорел свинарник и около 100 свиней), то они убедились, что здесь сидят только политзаключенные — фальшивомонетчик не мог бы сидеть в этой зоне. Они об этом написали в деревню, передали на свиданиях, навет отпал, и отношение к Ивану резко изменилось к лучшему.

Во время обыска у меня была изъята вся литература, имеющая отношение к еврейскому вопросу, все фотографии, письма. Среди изъятых книг был один том юбилейного издания воспоминаний о Марксе и Энгельсе. В этой книге была исповедь Маркса своей дочери Лауре. Исповедь была написана в форме полушутиловой анкеты. В числе других были вопросы: Кого он больше всех ненавидит? — Бонапарта. Любимый цвет? — Красный. Любимое блюдо? — Рыба. Как-то, читая эту анкету, я на клочке бумаги дал свои ответы на ее вопросы. На вопрос о ненависти я ответил — Хрущева. На вопрос о цвете — голубой, а на вопрос о любимом блюде — сало с капустой. Во время обыска все это, конечно, было изъято. На очередном допросе, когда в кабинете следователя было полно начальства, он вытащил эту книгу, в которой лежала бумага с моими ответами. Относительно Хрущева я сказал, что я симпатии к нему не питал и не пытаю, я уже не раз им об этом говорил. На вопрос, почему я люблю именно голубой цвет, не потому ли, что это цвет израильского флага, — я ответил, что это дело вкуса. Прочитав о любимом блюде, начальник следственного отдела Седов встал и продекламировал: "А сало русское ты любишь!" — Я ему ответил: "Почему русское, свиное". При допросах почти всегда кроме следователя присутствовал или начальник следственного отдела Седов, или его заместитель Панин, или оба вместе. Кроме того, постоянно заходило еще какое-нибудь начальство, в том числе и председатель КГБ Белоруссии Перепелицын. Впоследствии, при Семичастном, он стал зампредседателя КГБ СССР.

Попытка антиизраильской провокации

Недели через две после моего ареста приехали чекисты из Москвы. Один из них сразу же проявил себя как специалист по еврейскому вопросу. Высокий, элегантный, с красивыми манерами, хорошо образованный, что не так часто встретишь среди работников КГБ, особенно среди следователей. Об эрудиции моего следователя расскажу ниже. Этот специалист прекрасно знал историю еврейского народа и особенно

историю советского еврейства. Знал всех крупных деятелей еврейской культуры в Советском Союзе, знал многих работников израильского посольства, знал, кто из них чем занимается. Иногда он пересыпал свою речь еврейскими словечками и оборотами. Чувствовалось, что он проработал в этой области не мало лет. Блеснув своими познаниями о жизни на еврейской улице и выказав "дружеское" расположение ко мне, он сказал, что специально прилетел из Москвы лишь для того, чтобы помочь мне выпутаться из этого дела. После этого он перешел к конкретному предложению. "Я хочу дать вам возможность доказать, что вы все же остались советским человеком, несмотря на то, что вы запутались или же вас запутали в сионистские дела. Но для этого, разумеется, мы должны вам верить. А поверить мы сможем лишь тогда, когда вы будете правдивы и искренни". Я его спрашиваю: "Что вы имеете в виду, о какой возможности вы говорите?" Он мне отвечает: "Нам хорошо известно, так же как и вам, что вы контактировали с работниками израильского посольства. И вы можете помочь нам разоблачить их — ведь они под личиной секретарей посольства, имея дипломатический иммунитет, занимаются подрывной деятельностью. А какой именно деятельностью, вам хорошо известно. Я еще раз повторяю, что для этого мы должны вам полностью верить. Вас надо освободить, и вы полетите с нами в Москву".

Я мог в то время ожидать от них всего, но только не такого. Я был прямо-таки ошеломлен их наглостью. Немного прия в себя, глядя ему в глаза, голосом, полным ненависти и брезгливости, я медленно и четко ответил: "По-моему, я не давал вам ни малейшего повода делать мне такие гнусные предложения". Дружеский тон его сразу исчез, и он перешел на грубую брань, полную угроз. Затем, немного успокоившись, он снова сделался миролюбивым и, мерно расхаживая по комнате, говорил почти нараспев: "Подумай, Анатолий, пока мосты еще не сожжены". Я ему сказал, что если он специально прилетел, чтобы сделать мне эти предложения, то его командировка себя не оправдала. — "Вы ошиблись адресом". На этом наш разговор закончился. Очевидно, тогда они сделали соответствующий вывод, так как в дальнейшем ни в тюрьме, ни на протяже-

нии всех шести лет лагеря мне ни разу никто не предлагал сотрудничества. А известно, что в лагере каждый начальник старается иметь своих стукачей — и начальник режима, и начальник оперативного отдела, и, конечно, отдел КГБ. Каждый начальник отряда тоже имел своих доносчиков. После окончания следствия КГБ пишет характеристику на заключенного, в которой отмечается степень его готовности доносить. Эта характеристика подшивается в дело, которое следует за заключенным до его освобождения, а затем уже изрядно распухшая папка хранится в архивах КГБ с пометкой "хранитьечно". Как я уже говорил, работники следственного отдела не отличались ни интеллектом, ни эрудицией. Их невежество доходило до анекдотического. Мой непосредственный следователь майор Кудров в паузах между вопросами рассказывал, что в прошлом он — офицер советской армии, а сейчас работает следователем и учится заочно в университете на юридическом факультете. Он исследовал мои записные книжки. В них, кроме фамилий знакомых, были названия книг с фамилиями авторов. Увидев фамилию Ожешко, он спрашивает: "Кто такой Ожешко?" Я ему говорю, что это не он, а она. "Какие у вас с ней были отношения?" Я говорю: "Книжные". "А, — заинтересовался он, — а какие же книги вы ей давали?" Встретился ему Уриэль Акоста. — "А это кто? Тоже израильский агент? Говорите прямо". Или: "А кто такой Кант?" — "Немецкий философ". Подумав, он спрашивает: "А где он проживает — в Западной Германии или в ГДР?"

Почти одновременно со мной были арестованы еще два человека. Один из них — спортсмен, простой малограмотный еврей, по профессии плотник, был неоднократным чемпионом республики по борьбе. Мы с ним были хорошо знакомы, но никаких дел у нас не было. Но однажды он, как я уже писал, поехал в Польшу на спортивные соревнования и привез литературу по еврейскому вопросу. Некоторым минским евреям, которые до войны были польскими подданными, удалось уехать в Польшу, а оттуда уже в Израиль. В Польше они его встретили и передали книги, брошюры, газеты из Израиля и Франции на русском, идиши и иврите. На следствии чисто случайно наши показания совпадли. Я говорил, что ему просто передали для меня посыпочку, и он даже

в нее не заглядывал, а привез и передал мне. Он говорил то же самое, хотя мы с ним не договаривались об этом. Это ему на суде очень помогло. Второй мой подельник был врач, на два года старше меня. Он был сыном старого коммуниста с подпольным стажем. Мы с ним были дружны, и он многое знал о моих дела. Но далеко не все. И это в дальнейшем спасло меня от многих тяжких обвинений. Одно время он проявлял большой интерес к еврейскому вопросу. Хотя сионистом его назвать нельзя было, но он был на пути к сионизму. Он много читал, слушал свободное радио, и мы постоянно обменивались информацией. Я давал ему литературу, и он распространял ее среди своих знакомых. Но когда его арестовали, он сразу раскис и раскололся. На следствии он рассказал все, что только знал и помнил. Кроме того, он написал покаянное письмо в ЦК КПБ. Когда на следствии он узнал о других делах, о которых прежде не слышал, то он еще больше испугался, всячески старался отмежеваться от меня и всю вину валил на меня. Я, в свою очередь, все обвинения, которые были доказаны, брал на себя, говорил, что это я его уговаривал делать то или иное, я ему давал литературу, что вся вина за его действия лежит на мне. Вопрос стоял не лично о нем. Я знал, что на нас смотрят как на представителей евреев, евреев-сионистов. И когда я на следствии узнавал, как он себя вел, как старался своими показаниями угодить следователям, мне становилось стыдно, что он еврей. Он единственный дал показания о том, что я собирался совершить покушение на Хрущева. Он рассказал, что я просил у него цианистый калий, чтобы заложить его в пулью, которая предназначалась для Хрущева, а также ампулы с цианистым калием для себя, которые я собирался защитить в лацканы пиджака; а если бы мне не удалось после совершения покушения выстрелить себе в рот, то я должен был раздавить ампулу зубами.

Кроме агентурных данных, у КГБ были по обвинению лишь показания этого врача. Его трусивое поведение на следствии еще больше ожесточило меня, и я всячески старался показать кагебистам, что не все евреи такие, не все евреи трусы, не все евреи предают своих друзей. И на следствии, и в лагере я постоянно чувствовал, что на меня смотрят не как на человека по фамилии Рубин, а как на

представителя определенной национальности, отношение к которой было, мягко выражаясь, весьма тенденциозным. Постоянно чувствуя это, я всегда находился в напряжении, всегда у меня было повышенное чувство ответственности, которое заставляло меня держаться с достоинством, всегда стараться показать, что евреи не трусы, не предатели и не приспособленцы.

Еще в начале следствия при заполнении анкеты надо было ответить на вопрос о знании языков. Я сказал, что мой родной язык — еврейский, хотя я его не знал. Надо было видеть выражение лица следователя, когда я назвал русский язык для себя иностранным.

Постепенно прояснялось, в чем они хотят меня обвинить, что им известно и как они стараются заполнять пробелы, чтобы дело получилось цельным и логичным. Иногда их фантазия доходила до абсурда, и чувствовалось, что они стараются раздуть дело и обязательно включить в него работников израильского посольства. На одном из допросов начальник следственного отдела говорил: "Зачем вы пытаетесь увиливать? Ведь никто вам не поможет, весь ваш план действий находится у нас на столе. Если вы не хотите рассказать, то другие люди, связанные с вами, рассказали. Вы этим вредите лишь себе, а нам и без ваших показаний все ясно". И далее: "Мы хотели лишь проверить, осознали ли вы хоть сейчас, что вы хотели натворить". И он начал излагать мой "план". Будто бы первоначально я получил инструкцию о покушении на израильское посольство, затем из Польши вместе с литературой я получил уже от разведки другого заинтересованного государства — какого, он не сказал — конкретный план действий. И еще через какие-то каналы я получил оружие, через какие именно, он тоже не сказал. Я у него спросил: "А где же находится это оружие?" Мне было ясно, что они ничего не нашли, ибо если бы нашли оружие, то давно бы мне его предъявили. Он мне отвечает: "Об оружии нам так же хорошо известно, как и вам". Однажды следователь, подойдя ко мне почти вплотную, с ехидной улыбкой спрашивает: "Скажите мне, Рубин, а почему вы все-таки остались живы во время войны? Ведь вашего брата немцы поголовно уничтожали. Почему же они сделали для вас исключение?" С трудом сдерживая гнев, я ему ответил:

"К вашему сожалению, всех евреев уничтожить невозможно. Мы пережили многие народы, переживем и вас".

Я чувствовал, что они особо стараются обвинить меня в попытке покушения на Хрущева. Кроме статьи о покушении, на следствии у меня были статьи "измена родине" и "антисоветская пропаганда". Сионистская пропаганда и национализм включались в последнюю статью. И была еще отдельная статья — "групповая". Я понимал всю серьезность обвинения в покушении — Хрущев в то время был в зените своего могущества. Учитывая, с какой настойчивостью КГБ копал в этом направлении, я настроил себя на самое худшее. Именно потому, что я уже настроился на вышку, я был абсолютно спокоен, так как хуже этого уже не будет. Это помогло мне держаться уверенно и с достоинством. Позже, когда я почувствовал, что они не смогут доказать обвинение в покушении, у меня появилась надежда, что я "отделаюсь" максимальным сроком заключения. Обвинение в измене родине тоже не было доказано и отпало в ходе следствия. Во время моего следствия вышел новый уголовный кодекс, и номера моих статей были соответственно изменены. Если в обвинениях в измене родине и покушении на Хрущева следователям приходилось туго, так как они никак не могли свести концы с концами, то для обвинения в антисоветской пропаганде у них материала было больше чем достаточно. И найденная литература, и показания свидетелей — всего этого вполне хватало, чтобы передать дело в суд. Ко всему еще статья была "групповая", которая сама по себе не предусматривает наказания, но значительно утяжеляет основное обвинение. К концу следствия мое дело составляло шесть томов.

Ну и загнул пролетарский писатель

На одном из допросов мне предъявили обвинение в том, что у меня найдена рукопись, которая была проникнута буржуазным национализмом и в которой я злобно клеветал на русский народ. Я спросил у них, что это за рукопись. Они показали мне ее. Это оказалась переписанная мною брошюра

Горького "Об антисемитизме". Я им говорю: "Позвольте, какая же это моя рукопись, ведь это брошюра Максима Горького, которую я просто переписал". Они возмутились: "Как ты смеешь клеветать на великого русского писателя!" Я им указал точно, где я достал эту брошюру, а именно, в Центральной библиотеке им. Ленина, в читальном зале. На дом ее не давали и поэтому пришлось ее переписать. Два дня они не упоминали о ней, а на третий день мне следователь говорит: "А ты знаешь, с брошюрой-то ты был прав. Ее действительно написал Горький, ну и загнул же наш пролетарский писатель. Так клеветать на свой народ. Вероятно, когда он писал ее, то был здорово поддавшим" — и он сделал выразительный жест — щелчок по подбородку. По существующему законодательству, в конце следствия обвиняемый должен ознакомиться со всеми следственными материалами, кроме, разумеется, агентурных. После этого он должен подписать статью 206. В моем деле была перепечатанная целиком брошюра Горького. Был приложен и мой переписанный экземпляр.

Интересно, что теперь каждый из работников следствия, тюрьмы или суда старался показать, что он лично ничего против меня не имеет, но удовлетворение какой-либо моей просьбы или решение моей судьбы зависит не от него, а от кого-то другого. Например, когда я просил начальника тюрьмы, чтобы мне разрешили читать газеты, то он мне отвечал, что это зависит не от него, что в его функции входит лишь охранять меня, и если следственный отдел разрешит, то, пожалуйста, он готов ежедневно снабжать меня свежими газетами. Следственный отдел на эту же просьбу отвечал, что он занимается лишь ведением следствия, а чем я занимаюсь в камере — это уже дело начальника тюрьмы, и разрешить газеты зависит только от него. Или же следователь мне часто говорил, что их задача — проведение следствия и выяснение сути дела, а решает мою судьбу уже суд. Если бы это зависело от них, они ограничились бы следствием и тем временем, что я находился в тюрьме во время следствия, так как, по его мнению, долгие годы заключения не изменяют человека, а лишь еще больше озлобляют. На суде же, когда я что-нибудь оспаривал, председатель суда говорил: "Видите ли, мы ведь следствия не вели, нам дали

готовые материалы, и мы обязаны на основании их вынести свое решение. Мы-то сами ничего не выдумываем, так что все ваши претензии адресуйте в следственный отдел".

Я уже писал, что на следствие вызывали около 80 свидетелей. Когда я, прежде чем подписать 206-ю статью, ознакомился с делом, я прочел все допросы свидетелей. Им показывали бумагу с четырьмя фотографиями, одна из которых была моя. Вначале им предлагали определить, кого из четырех они знают, а затем следовали вопросы. Нужно было назвать мою фамилию, имя, когда со мной познакомились и при каких обстоятельствах, наши отношения, о чем разговаривали и мое направление мыслей, и так далее.

Среди моих друзей был человек, занимавший очень высокий пост. На протяжении всех послевоенных лет он был первым заместителем министра Белоруссии. Он продержался при всех чистках и гонениях даже в период расцвета антисемитизма. Мы были с ним действительно очень дружны, я часто бывал у них дома и дружил со всей его семьей. Больше всего я боялся, что его могут втянуть в это дело. Целый месяц они пытались мне внушить, что им уже все равно все известно и что главным виновником является он, что это под его влиянием я встал на преступный путь, и что стоит мне лишь сказать слово, и я пойду домой. Я чувствовал, что они стараются пришить его к моему делу, чтобы оно приобрело еще больший вес. Приходили какие-то аппаратчики ЦК КПБ и буквально упрашивали меня сказать что-нибудь о нем. Просили хотя бы рассказать им так, не для протокола. Меня спрашивали: "Ну почему вы его так защищаете?" А я отвечал им, что мне не от чего его защищать, а если я его от чего-нибудь и защищаю, так разве что от их клеветы. Так им и не удалось втянуть его в мое дело. Позже я узнал, что к нему все же придрались, сняли с высокого поста и перевели на второстепенную работу.

Следствие подходило к концу. Читая в конце следствия все материалы, я понял, как тщательно они следили за мной в течение полутора лет. Я часто ездил по разным городам на спортивные соревнования, и всегда меня опекал их представитель. Все люди, с которыми я случайно знакомился в вагоне, в гостинице, на пляже, которых я даже не помнил — все они были допрошены. На следствии я узнал, что все